

Александр Левитов

Целовальничиха



Александр Левитов

Целовальничиха

«Public Domain»

1861

Левитов А. И.

Целовальничиха / А. И. Левитов — «Public Domain», 1861

«Больной и измученный иду я по большой дороге – и вьется она предо мною бесконечно длиною лентой. Полдневное солнце палило мучительно голову, и ни одна мысль не могла войти в нее, хотя я и делал все усилия, чтобы подвинуть к деятельности мой мозг и тем сократить дорогу...»

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Александр Иванович Левитов

Целовальничиха¹

*Из дорожных воспоминаний*²

I

Больной и измученный иду я по большой дороге – и вьется она предо мною бесконечно длинною лентой. Полдненное солнце палило мучительно голову, и ни одна мысль не могла войти в нее, хотя я и делал все усилия, чтобы подвинуть к деятельности мой мозг и тем сократить дорогу.

Бегло и без участия скользил взор мой по придорожным вешкам с пожелтевшими от жара листьями, и тоскливо напрягался он в даль, стараясь увидеть в дали этой версту полосатую. Не только души человеческой, даже птицы не видно было в это время в поле, даже жнецы запрягались от жара под тень сжатых крестцов и отдыхали там. Одни только кузнечики неумолчно звенели в опаленном солнцем овсе; неслыханной прежде птички, должно быть, уютно запрягавшейся в гнезде, голосок раздавался – слабый, засыпающий голосок, и казалось, что все это: и поле, и хлеба, на нем посеянные, трава и дорога с пылью своей, от времени до времени вздымающейся к небу столбом-великаном, все это, казалось, страшно страдало. Голове моей воспаленной, глазам моим блуждающим казалось, что все это горит огнем нестерпимым, что мукой, неведомой людям, одержима природа.

Только одна страшная необходимость двигала вперед ноги мои. Неудержимо хотелось в то время лечь под тень вешки и спать. Но далеко позади меня остались люди, близкие сердцу, которым страдания мои должны были доставить возможное счастье. Не нужно мне особенно напрягать мое воображение, чтобы они представились мне как живые. Стоит только зажмурить глаза – и вот предо мной добрая, любящая сестра моя. Смотрит она на меня с своей приветливой, силы мои всегда воскрешающей улыбкой и говорит: «Иди. Я молюсь за тебя!»

За милость божью – идти с ней в это время рука об руку – все бы на свете я отдал...

И такова была напряженность души моей в то время, что страдания тела уже не томили ее. Полная каким-то сладостным, неотступно жаждущим и молящим о мире и счастье чувством, парила она в бесконечное небо – и небо лило на нее свет свой, и в свете этом утонула она и предала забвению брэнность тела и грубую подлость действительной жизни...

Великая тайна природы открылась тогда мне. Посреди этого недвижимого, ужас навещающего своим мертвым молчаньем пространства осязательно почувствовал я присутствие той высокой божией деятельности, которая оживляет и умиротворяет душу человека, восстанавливая в ней ее ослабевшие силы.

Нет места, в котором не проявилось бы могущество твое, бог мой! И для человека нет места, пустыни такой безжизненной нет, в которой бы он находясь мог сказать без ропота на благость твою: один я здесь!..

И я не один здесь, затем что вижу я, как – вон недалеко от большой дороги – солнце блистает на золотом кресте сельской колокольни, едва заметными точками вьются и мелькают около креста быстрые касатки – предвестницы грозы и дождя; а прямо предо мною из-за редкого леса, как будто навстречу, выходят деревенские крыши.

У дверей первого дома, где я остановился пить, бред мой прошел. Хозяйка дома, юркая такая баба, рожденная быть кухаркой у коломенского дворника, подперла кулаком щеку свою и жалобно смотрела на меня.

На конце деревеньки, в которой только домов с десяток и было, возвышался какой-то не виданный мною доселе пригорок, закрывавший собою небольшой пруд. Росло на этом пригорке несколько березок раскидистых и поразительно зеленых. Я уже собирался было идти туда, потому что, прошедши перед этим три степных губернии, редко, бывало, удавалось днем, в селе, выпроситься отдохнуть. Городской сюртук распугивал деревенских ребятишек, которые за отсутствием старших, ушедших в поле, остаются дома со слепыми бабками или с неподвижными от старости дедами.

– Ты куда же, красавик, собираешься-то? Ты вот отдохни возьми: в избе хошь, так в избе, а то бы на сеницу пошел, аль в сенях, может, хочешь? Ну, в сенях отдохни, – отдохни в сенях-то. Ишь вить, рай у нас в сенях-то. Ни мушки, ни блошки, ни комарика.

Язык не хотел повернуться, чтобы сказать спасибо за ласку. Так ныло и страдало тело, измученное непривычным трудом. От глиняного полу сеней веяло такой освежающей, такой нежащей прохладой, что трудно было придумать в это время постель более удобную.

– Ты что же, касатик, так прямо на пол ложишься-то? Ты погоди, я вот тебе подушечонку подброшу, – подушечонки-то у меня, признаться, перовые – мякота! Я сама не люблю как-нибудь-то! Мягко спать-то люблю я, грешница! О-ох! Как нам на том свете за грехи-то наши тяжкие отвечать будет? А уж люблю, люблю, родимый, помягче соснуть!..

И она действительно подбросила мне какой-то блин в засаленной пестряди, который только самому живому воображению мог напомнить настоящую подушку, хотя и это было для меня такой роскошью, которой не знал я в продолжение почти трех недель.

Лежу я, а неумолчный язык бабы вызывает в душе моей страшную злость на нее, затем что мешает мне она отдаться тому сладкому сну, которого так жаждет усталое тело.

– Откелича идешь-то, голубчик? – звенит досадная баба.

– Из Саратова.

– Вишь ты, какие еще мудреные города есть на свете? Саратов, говоришь? А далеко он от наших местов?

– Не близко. Тысячу пятьсот верст от вас до Саратова будет!

– И-и, батюшки мои! Тысячу пятьсот! Вот махина-то. Иерусалим-то, стало быть, не в нашей стороне, а то солдатик один прохожий рассказывал мне, что до Иерусалима-то от нас только тысячу верст. А ведь дальше его, говорят, ни одного города нет. Там вон, солдатик-то говорит, за Иерусалимом-то – слышь? – и земля кончается, – там уж, он говорит, пошла вода одна да высь поднебесная. Ты не слыхал про это? Страшно, надобно быть, как там это вода-то около города ходит?..

– Нет, не слыхал, – ответил я мучительнице своей безжалостной. – Ты вот что, хозяйка, ты куда оставь меня, – я сосну, мы тогда поговорим с тобой.

– Вишь ты, желанный ты мой! Намайлся, соснуть хочешь? Ну, спи со Христом, сосни, – оно тогда вольготней будет тебе идти-то. Холодком-то гораздо вольготней пойдешь. А ты вот что только скажи мне: ты из каких? Вишь, вон у тебя лицо-то не мужицкое, словно и руки-то, вишь, белые какие, не то что у меня: вишь ручишиши-то! Ты из дворовых, что ли? Барин-то каков у вас? У нас вон у барина-то в усадьбе (видел небось усадьбу-то? мимо шел) так дворовые-то: мальчишки там, да оно и девчонки, все такие беленькие. Все в барина, – настоящие барченята, хоть известное дело: летом-то, по улице бегаючи, загорят немного, а все на наших детишек-цыганят не похожи. То ли уж оттого это, что отцы их, а пуще матери от барина, значит, каждый месяц чай с сахаром получают. Да нет! Вот вить, кажись, и сама я, грешное дело, самоварчик имею, так оно часто приходится с богомолкой какой, аль вон поверенные в кабаке наезжают, так, значит, дашь им самовар, а они чайком и попоют. А все как-то детишки-то мои не то, что дворовые. Те как картинки писанные, а мои всё цыганята цыганятами... То-то я и спросила тебя: не из дворовых ли, мол, постоялец? Вишь, мол, белый какой.

– Нет, я не из дворовых.

– Так ты, значит, барин выходишь. Бумаги, должно, в суде пишешь? Так бы ты и сказал, – я бы самовар завела.

– После заведешь. Только ты уйди, пожалуйста. Я сосну немного.

– Спи, спи, родимый. Христос с тобой! Только ты послушай, что я тебе скажу: ты, должно быть, в Москву али в Питер идешь места искать? Пошли тебе бог, касатик, только не оставь ты меня, Христа ради. Ты вот послушай: ишь, жисть-то моя какая крошечная! Знаешь небось, какие в людях мужики-то живут? День-деньской проработает да жене с детками спокой доставив; а у меня, несчастной, не таков муженек-то! На другой он на мне – слышь? – женился-то. Не за ним бы мне быть, кормилец, да выходит судьба-то моя такая несчастная. Всегда он у нас на деревне ледащим считался, – все бы, значит, в кабаке ему только, и бородачи-то у него, как первая жена умерла, уж индеветь начинала, а мне-то в то время только двадцатый годок доходил. Да вишь ты, сердешный ты мой, напасть-то какая на наш дом тогда навалила: с краснорядцем одним (провались он в тартарары!) и загуляй я. Ну, значит, девчонка у меня в то время случилась; а он, старик-то мой, и присватайся за меня. Я туда, я сюда; а родитель у меня жесткий такой старик был (царство небесное пошли ему, господи!), брови эдак как сдвинет, да и говорит: иди, говорит, за Андрея, а то с света сживу. Вот, кормилец ты мой, вышла я за него; а он возьми землю-то свою мужику и отдай. Он, говорит, подушное за меня будет платить, а сам я, говорит, мужицким делом заниматься больше не буду. Торговать, говорит, хочу, авось разживусь, так купцом буду. А какой он, ветер эдакой, торговец! Пойдет вон с молодыми попovichами али с писарями птичек ловить, сети там разные вяжет да свистюльки костяные вытачивает. А там скучится, ко мне придет, под руку что попадется стащит да в кабаке и сидит. Вот его и торговля вся, а сам все на судьбу да на бесталанье свое жалуется. В разговоре таперича с кем-нибудь, ежели ему кто на несчастье свое пожалуется, так он сейчас и говорит: «Да ты-то что говоришь? Ты вот на меня посмотри: уж на что, кажись, молодец, а ишь судьба-то лихая как доконала...» А какая, кормилец, судьба-то его? Жалуется только на судьбу-то, а она на него и глядеть-то не будет. У бар дело другое: там, пожалуй, и судьба; а у нашего брата мужика, как я таперича, темная женщина, рассуждаю, судьбы-то и нет совсем... Вот я, кормилец ты мой, и маячусь с ним так-то восемнадцатый год. Где мытьем берешь, а где катаньем. Сама третья, ты таперича возьми в расчет, прокормиться должна. Старика-то, ветра-то своего буйного, я уж и не считаю, а вот про дочек-то говорю, – невесты уж почитай.

– Так как же ты пробавляешься? – спросил я, полусонный, но все-таки заинтересованный ее положением.

– Как пробавляюсь-то? Да я и сказать тебе не умею, как я пробавляюсь. Вот, примером таперича, прохожие идут: где, думают, чаю напиться? Спросят на деревне, их ко мне и пошлют. Самовар, значит, на деревне у меня один только и есть. Редкостная вещь, кормилец ты мой, за пятнадцать рублей я его у солдатика купила, с самого Кавказа, говорит, несу – тяжело стало, так продать захотел. Вот я с прохожих по десятке за хлопоты и беру. А там мужички (вишь вон напротив питейный стоит!) напьются в нем зелья-то своего, да ко мне, чаю, говорят, давай. Мы, говорят, все равно как господа в городе, гулять хотим. Ну, чай – известное дело – трава дорогая, так я в этом разе смородинных листков али цикорию в городе куплю и оттоплю им. Таперича я тебе еще вот что скажу, вот еще каким манером деньга ко мне набегаёт: знаешь, вить, хоть бы таперича в питейном, всякий народ есть. Так иной деньжонки-то все пропустит там, да и одежонку-то стоящую-то, значит, мало-мальски, тоже с плеч спустит (целовальник стоящую одежонку завсегда возьмет, потому он за нее в городе всегда настоящую цену получит). А там, когда придет пора, когда душа с телом расстанется, – опохмелиться, значит, затребует, а на грешном-то теле сапожишки одни али шапчонка какая, лет пять назад за три гривенника куплена. Так вить целовальник-то такой дряни не возьмет. Ему с старьем-то этим возиться нельзя, – вот ко мне и несут. Ну, дашь ему на шкальчик и возьмешь, значит, вещь. Пускай, мол, лежит – хлеба не просит. А там иной раз человеку понадобится что-нибудь, он

и бежит ко мне, знает, что у меня все эдакое обиходное в залеже есть. Ну тут уж, значит, и пользуешься... Такими разами и обертываюсь я, горемычная, с девчонками своими. Все одно, значит, что сироты. Хоть и есть отец, да все равно, ежели бы его, словно худой травы на пустом поле, совсем не было. А матернее сердце ты еще не знаешь какое, сударик ты мой, потому молод. Уж о себе мать-то ни в жисть хлопотать не будет, а вот об дочушках-то хлопочу, их бы вот пристроить хотелось. Смотришь, смотришь ину пору, кормилец, на них: как это они, значит, в сиротстве-то да в убожестве своем время проводят, так сердце-то кровью у меня и обольется. Меньшая-то, значит, ничего еще. Вишь, вон девка какая. Здоровая, большая девка! Она у меня ко всякому крестьянскому делу приучена, ну, на улице, значит, никто ее и не обегает, знают потому, невеста справная будет. А старшая-то, любчик ты мой (к мужу-то, значит, до закону-то какую я привела...), вишь, хилая какая. Ох, сердцу-то моему дорога, вить, она, любовный ты мой!.. Так я ее миткальному делу, все равно как на фабрике, сама выучила; а на фабрику не пуцаю, потому там народ такой – шальной народ... Долго ль такому народу девку испортить? Вот, кормилец ты мой, мы с ней дома миткаль и ткем. А она все плачет да в город просится. Я, говорит, мамынька, господам служить буду, – потому, значит, что по хилости-то ее вниманья ей на селе никто и не дает: какая, дескать, жена она будет, когда таперича такие девки бывают, каких в гроб краше кладут. Не токма что живые. Ну, известное дело: девичье сердце – ему это забольно, а мне и того больше. Вить, она, старшая-то, красавик ты мой, вить, она помянница счастью моему старинному – гульбе моей девичьей... Так ты вот что, красавик, для бога прошу. Придешь ты в Питер али в Москву, да местечко тебе господь милосердый пошлет, так ты барыне там, што ли, какой, ежели, то есть, узнаешь такую (да как поди не узнать? возьми да и скажи ей: вот, дескать, такая и такая девка у меня на примете есть. Не угодно ли, мол, вам, барыня-сударыня, эту, значит, самую девку в рабы к себе взять? Вот как она скажет тебе: давай сюда девку, так ты и напиши мне, а я ее приведу. Признаться, девка тут у нас в соседней деревне есть, проживает она все больше в Москве, и теперь, все равно как барыня какая, в пышных эдаких платьях ходит и вот так же, как ты, из бумажки, значит, табак курит. Ну и заходила ко мне эта самая девка с приятелем своим чай пить, так я ей на свою беду великую и пожаловалась, а она мне и говорит: ты, говорит, дочь-то свою со мной отпусти. Чего, говорит, тебе лучше? Я в Москве, говорит, на барынь атласные башмаки шью, так и ее бы этому мастерству научила. А мне, кормилец, с этой девкой дочку отпускать-то больно не по нутру: греха, пожалуй, с ней укусить можно... Так ты, желанный ты мой, похлопочи об этом самом деле, господь тебе, и не увидишь, как за это милость свою окажет, а магарыч мой. Я сейчас самовар заведу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.